

Александр СУВОРОВ

СРЕДОТОЧИЕ БОЛИ (диалог с Э.В. Ильенковым)

ВСТУПЛЕНИЕ

В крематории выступая,
Я «прощайте» Вам не сказал.
Не в ненужных нам куцах рая –
Тут свидание назначал.
Вот и видимся, дорогой мой,
Не расстанемся никогда
В добровольной и беспокойной
Сфере творческого труда.
Все, за что вы всю жизнь боролись,
И мечтали о чем с тоской, –
Средоточие общей боли
Продолжает свой вечный бой.
Жгут и лечат
 при нашей встрече,
На трибуне из тысяч строк,
Ваши выстраданные речи,
Трудный мысленный диалог.
Пусть отрывочный: в ночь бессонную
Все-то мысли кто соберет?..
Превозмочь бы к утру огромную
Боль за весь человеческий род...

Надгробные выступления принято заканчивать обращением к покойному: «Прощай!» Этим подчеркивается безысходная окончательность, навсегдажность прощания. Подчеркивается именно то, с чем особенно трудно смириться живому человеку. С чем, во всяком случае, никогда не мог смириться я.

Поэтому 23 марта 1979 года, когда хоронили Эвальда Васильевича Ильенкова, я на траурном митинге, уже в крематории, а не в Институте философии, заключил свое выступление:

«Не прощайте, а до свидания! До свидания в творчестве!»

Помните, Эвальд Васильевич?.. В редакции журнала «Молодой Коммунист» был какой-то круглый стол. В перерыве подошел к нам журналист. За несколько месяцев до того умер Александр Иванович Мещеряков, мой учитель, Ваш близкий друг, возглавлявший в СССР всю работу со слепоглухонемыми детьми. Журналист и стал спрашивать об Александре Ивановиче, и я сказал, что не могу поверить в его смерть, не считаю его мертвым. В могилу мы закопали биохимию, а сам Александр Иванович не умирал, он с нами, живой...

«Как это живой?» – заинтересовался журналист. «Вы верите в личное бессмертие? В бессмертие души? Вы верите в Бога? Как Вы эту веру совмещаете с членством в комсомоле, с учебой в университете?»

Я по молодости не понял, что пахнет жареным, что моим нежеланием смириться с фактом смерти учителя журналист заинтересовался очень нехорошо, подозрительно зацеписто. Этот зацепистый, недобрый интерес испугал Вас. Вы довольно резко оборвали мои излияния, поспешно увели меня от журналиста подальше.

«Будь поосторожнее», – упрасивали Вы, когда мы остались вдвоем.

«Почему? Журналист задавал интересные вопросы. Про личное бессмертие...»

«Интересные... Все это могло кончиться очень неинтересно! Он же сразу прицепился: бессмертие души, вера в Бога, комсомол, МГУ... Он бы нас с тобой не понял, про биохимию и про жизнь личности после смерти тела. Он... сразу на религию повернул. Другого, нерелигиозного, понимания продолжения жизни личности после физической смерти он не знает».

Вы не могли мне прямо объяснить, что напоролись мы на доносчика, может быть, на секретного сотрудника КГБ. Я еще не способен был понять, почему надо опасаться чекистов – героев, рыцарей коммунистической идеи, защитников и так далее по советским приключенческим повестям «про разведчиков». Так же, как со смертью Мещерякова, я вряд ли бы смирился со смертью идеологической иллюзии, хотя про 1937 год кое-что уже читал. Но ведь это было давно, а сейчас, после XX съезда Партии, все исправлено, восстановлены ленинские нормы....

Почему так тяжело провозжать в последний путь, смиряться со смертью дорогого человека?.. Как-то, забредя к нам, слепоглухим студентам, с очередных похорон, Вы с нами разговорились на эту тему. Ваше решение проблемы сводилось к тому, что человек не живет полного телесного срока, умирает раньше. Личность еще в расцвете, может быть, в начале развития даже, а тело уже отказало, и его жизнедеятельность оборвана какой-нибудь случайностью. В идеале тело и личность должны угасать одновременно, когда будут исчерпаны не только физические, но и духовные силы; когда у личности угаснет воля к жизни; когда личность просто устанет жить. Тогда отношение к смерти было бы спокойным и у самой личности, и у людей, окружающих ее. Все понимали бы, что дальнейшее существование бессмысленно, и не с чего было бы горевать... Мне почему-то помнится, что нормальной продолжительностью жизни Вы тогда назвали сто тридцать лет. А может, на тот разговор наложилось позднейшее чтение мною геронтологической литературы, на которую Вы к тому же прямо и ссылались...

Мещеряков немного не дожил до пятидесяти одного года.

Вы умерли через месяц после пятидесятипятiletия. Жизнь личности оборвалась в обоих случаях трагически рано. Я нестерпимо соскучился, истосковался без Вас обоих. Я унаследовал груз Ваших проблем, средоточие Вашей боли, ставшей также и моей. Не тысячи, а сотни тысяч, миллионы строк моих текстов прямо или косвенно обращены к Вам, вдохновлены Вами. Без Вас обоих я просто не состоялся бы как личность определенного, именно этого, получившегося, типа и качества.

Александр Иванович умер во сне. А Вы – мнится мне почему-то – в предсмертную ночь не спали. Вы всегда ходили какой-то подавленный, не мрачный, но очень грустный, измученный. Плечи Ваши согнулись под грузом проблем, под средоточием боли. Работали Вы, как реактивный двигатель, рывками, толчками, взрывами страстной убежден-

ности в своей правоте. Итак, перед смертью Вы не спали... О чем Вы думали? Почему-то все литераторы уверены, что перед смертью подводятся итоги жизни. Я не исключение. Я набрался нахальства вести основной стихотворный монолог от Вашего имени, от первого – Вашего – лица...

1.

Ночь бессонницу свинцовой
Навалилась опять на грудь.
Будто снова война, и снова –
Танков, пушек смертельный труд.
Снова сердце прошито болью,
И на ранах души горит
Опыт жизненный крупной солью –
Весь он в память до смерти вбит.
Вбиты годы войны без мира –
В самом тяжком идей бою.
Цель – чтоб каждый мог мыслить шире,
Сам бы делал всю жизнь свою.
Чтобы не было серой массы
В серых сумерках нищеты.
Чтобы люди все были асы
Смелой практики и мечты.
Чтобы люди умели видеть
Плюс и минус, вперед–назад:
Что из наших поступков выйдет –
То в единый, мгновенный взгляд.
Не по очереди, а разом –
И вперед, и назад успей!
Только так – по спирали – разум
Может двигаться у людей.
По-другому и не пытайся,
Не получится ничего:
Или – пойманы оба зайца,
Или – нету ни одного.

Серая масса – и яркие звезды талантливости. Талант – привилегия. В общем такая же, как всякая другая, но связанная с распределением способностей, а не только материальных благ... Всю жизнь Вы посвятили борьбе с этой привилегией, научному обоснованию протеста против того, чтобы уделом большинства – массы – была серость, безликость, бездарность. Серость ненормальна. Нормален только талант. Поэтому талантливыми должны быть – должны стать – все.

Нищета, как давно знали еще до Вас, бывает не только «материальная» – безденежье, отсутствие какого бы то ни было имени, имущества. Давно открыто и философами и поэтами, что самая страшная нищета – духовная, бездуховность. Когда человек словно бы сплошной желудок. Не Вы первый, не Вы и последний мучительно размышляли над

тем, при каких условиях серенький обыватель, сплошной желудок, ждущий кормежки, вынужден был бы стать личностью – подлинно разумным, духовным, талантливым существом. Что нужно для того, чтобы каждый умел мечтать и воплощать мечту в реальность?

Вы присоединились в этом вопросе к Гегелю, который говорил (Вы сами мне об этом писали), что сознание – это «способность выносить напряжение противоречия». Вот оно! Не бояться противоречий. Уметь диалектически разрешать противоречия. Уметь видеть одновременно и желательные плюсы, и нежелательные минусы. Предвидеть, единым интуитивным актом охватывать последствия своих действий, а не вслепую на них напарываться. Следовательно, быть ответственным существом: раз способен предвидеть последствия, то должен за них и отвечать. А что такое талант? Разве это не есть умение (способность) видеть немножечко дальше собственного носа? Видеть следствия, понимать причины – и в итоге ответственно (поистине разумно) преобразовывать мир, а не наудачу коверкать его.

Надо видеть противоположности; точно знать, в каком пункте Они столкнулись, превратились в проблему, в противоречие; и мудро действовать, решая проблему, а не обостряя ее азартной погоней за вожаделенной противоположностью, – одной из двух... Недаром в книге «Диалектическая логика» Вы обыграли известную поговорку о двух зайцах: «За одним погонишься – ни одного не догонишь». Зайцы летят, очертя голову, да на то мы и разумные существа, чтобы не следовать их примеру и не напарываться с разбегу на «противный, диалектически раздвоенный» змеиный язык... (Этот образ так же Ваш, из книги «Об идолах и идеалах»).

Змея – история всего человечества, общечеловеческий опыт. Личного опыта для разумного решения проблем никак не хватит. Даже умение принимать пищу с помощью специально для этого предназначенных «орудий» – ложек и тарелок – переходит в личный опыт из общечеловеческого. Не говоря уже о более сложных умениях. Во всем надо быть ровесником человечества, чтобы быть разумным, диалектически грамотным и ответственным за свои действия существом. Выдерживать напряжение противоречий, ловить «зайцев» следствий и причин можно только с позиций жизни всего человечества, а не личной, мотыльково короткой. Чем в большей мере ты ровесник человечества, тем ты талантливей; тем больше заслуживаешь высокого звания личности (то есть разумного существа, подлинно нравственного, способного отвечать за себя).

2.

На все это я жизнь потратил,
И какой же теперь итог?..
А настал ли, – скажи, приятель, –
Для итога всей жизни срок?
Ты не стар, хоть давно не молод, –
Разве время для панихид?..
Да, но боли жестокий молот
Тупо в оба виска стучит.
Из грудной надоевшей клетки
Сердце рвется – не удержать.
Из друзей, что остались, редкий
В душу, в морду забудет дать.

Предрекая спроста бессмертье,
Уж торопятся хоронить...
Я живой человек, поверьте!
Доработать хочу, дожить!..
Не ругайте, не прославляйте!
Разговор мой с людьми большой.
Дело жизни закончить дайте,
Пусть не точкой, а запятой.

Вы были очень больны. Я всегда точно знал, болит у Вас голова или нет. При спазмах сосудов головного мозга руки Ваши становились просто ледяными. И еле шевелились. А обычно- теплые и энергичные. Каждое движение как удар океанской волны о берег.

Но и океану страшна репрессивная машина. Вас – кто сдуру, по недомыслию, а кто с подлой провокаторской целью – называли главой целого направления в марксистской философии. Я не подозревал, что в советском официальном псевдомарксизме, объявленном «единственно верным», не может быть никаких «направлений», кроме «ревизионистских», «оппортунистических», «рenegатских», «изменнических». Кроме «реформистских» – вместо «единственно верного революционного». Мне это пришлось объяснить специально. А когда я эту ядовитую похвалу – «глава целого направления» – передал Вам по дороге куда-то, на ходу, Вы резко остановились: «Никогда больше этого не повторяй и других обрывай, от кого ни услышишь! Помру – тогда и говорите, что хотите».

Вообще Вы изо всех сил отбивались от лавров живого классика. Кто-кто, а Вы-то лучше многих понимали, что лавры эти годятся только для иконы, а на иконе может быть нарисован только покойник. И когда мне же случалось пенять Вам на то, что Вы пишете одно, а делаете подчас другое, Вы с тоскливой, безнадежной мольбой настаивали: «Я живой человек!»

Да, Вы слишком рано своими, действительно классическими, произведениями заработали сомнительную честь быть иконой, а не живым человеком. На Вас, Вам пытались молиться. И я тоже. А если Вы делали не то, что положено делать иконе (которой, строго говоря, делать ничего не положено, – разве только на стенке висеть), – мнимые последователи, действительные верующие негодовали. И я тоже... Тем самым Вас хоронили задолго до смерти, мешая дожить, доработать, договорить с человечеством. Это я понял годы спустя после того, как Ваш прах захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Понял, перечитывая Ваши книги, вспоминая Вас, мысленно без конца беседуя с Вами, с каждым годом сильнее тоскуя по живому, теплomu, вечно взволнованному, подчас непоследовательному, противоречащему себе же. Лишь осиротев, потеряв Вас, я понял, что надо принимать любимых как есть, иногда слабыми, беззащитными перед собственным безрассудным чувством, хотя бы чувством страха. Ибо мужество не бесстрашие. Способность выдерживать напряжение противоречий не бесчувствие. Выдерживаем – в конечном итоге, а перед этим не раз ослабеваем, стонем навзрыд, цепенеем от горя и ужаса.

3.

Ах, бессонница!.. Так ли, сяк ли
Повернись – сон пропал совсем.
Будто губка, мозги набрякли
Нерешенностью всех проблем.
Сигарет не считая, куришь,
И мерещатся рядом, близ,
В дымовой кутерьме фигуры
Тех, чьи жизни в мою вплелись.
То ли враг, то ли друг бесспорный?..
Зыбки образы – не пойму.
Не могу различить, который
Предо мною возник в дыму.
Много проще на фронте было.
Черно-белым казался мир:
Враг – он черный, его – в могилу;
Друг – что солнце, почти кумир.
С черно-белой военной ночью
(Вспышки выстрелов – в темноте)
Познакомился я воочью..
Крепко помнятся ночи те.
По фашистским тылам в разведке
Мы скользили порой ползком,
Чтобы наши могли сверхметким
Крыть противника артогнем.
Приходилось решать мгновенно.
Интуиция только спасет.
Биохимией платят брэнной
За медлительность и просчет.
Было – не было. Ну и что же?
В мертвой вечности закоснеть?..
Вспышка жизни всего дороже.
Не бывает красивой смерть.
Лишь последняя трата силы
На последний по жизни шаг
И бывает красивой, или
Безобразной, а смерть – никак.

Однажды я попросил Вас рассказать о Вашей жизни, как воевали, как потом, после войны... Спрашивать прицельно я не умел, у меня всю жизнь это не очень-то получается, а на спрос «вообще» Вы ответили уклончиво:

«Это целый роман».

«Тем интереснее! Вот и расскажите!»

«Целый роман за вечер хочешь? Ишь какой хитрый!»

Пришлось запоминать обмолвки, краткие сообщения других людей, которые знали Вас лучше меня. Кое-что позже удалось и вычитать в посмертных публикациях о Вас. Я узнал, что философией Вы увлеклись еще до войны, и были прямо-таки счастливы изучением философской классики. На фронт Вы попали младшим артиллерийским офицером, пройдя обычный в то время ускоренный курс обучения в соответствующем училище. Вроде бы командовали взводом артиллерийской разведки, и одним из первых ворвались в Берлин. За это Вы стали кавалером боевого ордена...

Как-то в День Победы Вы пришли при всех наградах. Я запомнил, что орден был в виде звезды. Еще четыре медали – три юбилейные и одна, полученная Вами непосредственно в Победном Сорок Пятом. Вы сказали, что на этой первой медали «рожа Сталина», и Вы ту первую медаль нацепили нарочно вверх ногами.

«А кто на других медалях?»

«Ленин».

«Не перевернутый?»

«Его переворачивать не придется...»

Не буду фантазировать, что бы Вы сказали сейчас, после Перестройки. Очень бы хотелось поговорить сегодня с Вами, но Вы молчите, и Вы, как сказано Твардовским о Ваших ровесниках, погибших на фронте, «навек правы». Дело, в конце концов, не в том, кто изображен на медалях. Главное – за что они получены. А получили Вы свои награды именно за участие в антифашистской войне. Будучи убежденным антифашистом, Вы и сейчас, бесспорно, гордились бы своей причастностью к борьбе с фашизмом, – не только на фронте, но и в философии. Поэтому и сейчас Вы надели бы в День Победы изображение Сталина, пусть и перевернутое. Вы – и на фронте, и в философии – всю жизнь оставались противником всякого фашизма, в какой бы цвет он ни красился.

По-настоящему противостоит фашизму только сознательный, жестко трезвый, ни на Бога, ни на черта не уповающий гуманизм. Конкретный, исследующий реальность, а не абстрактный, навязывающий реальности свои иллюзии, перед реальностью поэтому беззащитный. Это не значит, что надо рабски смиряться с реальностью такую, как она есть. Нет, реальность надо совершенствовать, преобразовывать, и именно с преобразовательной целью – исследовать, а не ради «знания для знания», не ради «констатации факта».

4.

Но теперь – словно в дым окутан

Весь наш послевоенный мир.

Кто чужой, а кто свой как будто,

Не постичь в блиндажах квартир.

Этот – добренький, даже сладкий.

Верить можно ему на вид.

Но язык клеветою гадкой

Извивается и язвит.

Будь монахом, аскетом даже –

Обнаружит в тебе разврат,

И навозом всего измажет...

А народ легковёрный рад:

С виду грязный. Но то ль испачкан,
То ли грязен насквозь и впрямь?..
Затрудняться такой задачей
Лень и некогда просто нам.
Что ни выдумает похуже,
Ложной клятвою подтвердит,
И заверит: хоть нет снаружи –
Это твой настоящий вид.
Обличи-ка его, пожалуй!
Гладкий, скользкий – змея-змеей:
Сам напасть поспешит, ужалит –
И скользит от тебя сухой.

Вы не раз пытались мне объяснить разницу между «добреньким» и «добрым». Человечек очень мягкий, Вы в споре со мной об одной «добренькой» особе, обернувшейся матерой интриганкой и сплетницей, вдруг пригрозили:

«Да пойми же ты меня, а то я скажу тебе яснее, кто она такая!»

«Ну кто, кто?»

И с невыразимым отвращением, так, что рука моя отскакивала от Вашей при каждом следующем сочетании пальцев, из которых (сочетаний) состоит дактильный алфавит глухих и слепоглухих, Вы ответили:

«С! в! о! л! о! ч! ь!»

Но это надо было Вам разозлиться почти до невменяемости, чтобы так... Булгаков в «Мастере и Маргарите» говорит, что самый страшный гнев – гнев бессилия. Теперь-то я хорошо понимаю Ваше положение: Вы видели то, чего я не видел, и не могли мне помочь увидеть это, ибо на веру я ничего не принимал даже от Вас. Последующий собственный жизненный опыт, который убедил меня в Вашей правоте, был страшен...

Я не мог и не могу чураться людей «на всякий случай» – «как бы чего не вышло». Тогда я был бы сереньким обывателем, недостойным Вас. Меня, как и Вас, всегда возмущала обывательская подленькая радость по поводу любого чужого неблагополучия, любой чужой слабости. «Вот он и показал себя в настоящем виде! Вот он какой на самом деле!» – злорадствует обыватель. Получается, что «настоящее» – все грязное, а все чистое – притворное, фальшивое. С подобной позицией невозможно жить. Впрочем, понять ее можно: это подсознательная месть обывателя религиозному абстрактному, иконному идеалу. Да и всякому идеалу. Дескать, «в жизни не так». Жизнь противопоставляется идеалу, как химере, выдумке, доброй, но беспомощной мечте. Мол, этого не только нет, но и быть не может в жизни. И если кто-то в чем-то приближается к идеалу, тому не верят. Защищая обывательское «знание жизни», хорошего человека подозревают в притворстве, радуясь каждому срыву, каждому проявлению хоть какой-никакой слабости: «Вот он и показал себя в настоящем виде!»

Я всегда был склонен писать проблемно, о том, что болит, а не воспевать «достижения» во имя абстрактных «идеалов». Конечно, в принципе Вы эту мою установку не могли осуждать. Но, не желая ни в чем радовать обывателя, Вы спрашивали:

«А для кого ты это пишешь? Прочтет обыватель и скажет: вот как у них на самом деле!»

«Но врать-то зачем? Надо же ставить и решать проблемы?»

«Я был знаком с Назымом Хикметом. Он отвечал на этот вопрос так: врать не надо, но надо знать, кто достоин правды. А Николай Островский? О нем говорят: это не литература, агитка! Ты ведь не хочешь писать для обывателей, которые так говорят?..»

Нет, я не хотел. И не хочу. Жизнь богаче обывательских представлений о ней. И совсем не по праву обыватель присваивает себе монополию – вещать от имени жизни. На самом деле в любые кошмарные, кровавые времена в жизни было место добру, человечности. И Николай Островский, и Аркадий Гайдар, и Антон Макаренко, и Александр Твардовский любили людей, служили людям, учили их добру, человечности, как только возможно это было в тех условиях. И вопреки тем условиям делали, пожалуй, подчас невозможное: во многих заронили и сохранили искорку настоящего, повседневного, само собой разумеющегося гуманизма, а не показного, фанфарного, казенно-оптимистического «милосердия».

В эпохи потрясений обществу свойственно шарахаться из крайности в крайность. После Семнадцатого года раздавались призывы «сбросить с борта парохода современности» всю прежнюю культуру, в том числе Пушкина. Нынешние «демократические» раде-тели культуры в этом отношении ничуть не лучше: они норовят выбросить «за борт» всю – без разбора – советскую культуру. Как же мы себя грабим!.. Все надо знать, все должно быть доступно, иначе ни о какой интеллектуальной свободе не может быть речи. Интеллектуаль-ная свобода – это, прежде всего, свобода знакомства с первоисточниками.

5.

Ну, а я-то скользить не мастер.
Вся душа моя – в синяках...
Дальше некуда – так несчастен
Род людской у меня в глазах.
Вот послушай, любитель слушать!
Не стесняйся и не робей!
Дай ввести тебя прямо в душу,
Исповедоваться – тебе.
Жить привык ты по ритуалам,
По накатанным колеям:
Непродуманным – идеалам,
Непрочувствованным – стихам.
Впечатлений ты потребитель
И навязанных модных идей, –
Сразу слушатель ты и зритель.
Вот и вслушивайся, глазами!..
То ли слезы на лицах сохнут,
То ли кровь – бой иль мордобой?..
На все пуговицы застегнут
Исстрадавшийся род людской.
У порога души другого
Видя пуговиц этих ряд,
Ты согретое сердцем слово

Проглотить, не сказавши, рад.
Что в нас лучшего, то ревниво
Бережем про себя поврозь,
А всю дрянь, усмехаясь криво,
Тычем ближнему прямо в нос.
Как притворная пахнет глупость?
А язвительное словцо?..
Вместо правды любовно грубость
Режем лучшим друзьям в лицо.
Ничего не скрываем, дескать,
Что ни думаем про тебя.
Ты наш друг. На любую резкость
Мы решимся, тебя любя.
А потом в удивленье крайнем
Не поймем, отчего наш друг
Из души своей сделал тайну,
Пуст и скучен, совсем потух, –
Весь пока еще не растоптан,
Сам навеки для всех погас...
Я философом после фронта
Вот поэтому стал как раз.
Я в науке хотел продолжить
Бой за менее скотскую жизнь,
Чтобы счастья хотя бы столь же,
Сколь и горя, – за гуманизм.

Обычно, когда Вам «резали правду-матку» в глаза, Вы сгорбленно, с опущенной головой отмалчивались. Втягиваться в перебранку – Вы понимали – было бы недостойно. Оставалось только молчать.

И мне Вы советовали:

«Не оправдывайся».

Легко сказать!.. Вы не раз, наверное, в душе позавидовали моей глухоте, позволяющей просто не слышать распоясавшегося демагога-обличителя. Удобно! А пожелает демагог быть «доходчивым» – пускай соизволит в совершенстве овладеть специальными средствами общения глухих. Да и то, увлеченно растараторясь и говоря не больно-то разборчиво, половину заряда выпустит в белый свет как в копеечку – сам же не даст остановить, переспросить себя, уточнить особо сокрушительный тезис...

Вообще же, для чего-чего, а для человеческого достоинства планета наша меньше всего оборудована. И недаром в романах о будущем Иван Антонович Ефремов придумал «Академию Горя и Радости» – своеобразное статистическое управление, каким-то образом учитывающее количество и соотношение горя и радости в человеческой жизни. Если радости больше, чем горя, или хотя бы столько же, – общество можно считать здоровым. Но если количество горя превышает количество радости, – дело плохо, общество больное, надо диагностировать болезнь и лечить. Наше общество – на глазок видно – тяжело, может быть, смертельно больное. Диагностированию болезни общества,

разработке стратегии лечения Вы и посвятили жизнь. Фронт, конечно, сыграл значительную, может быть, решающую роль в таком самоопределении Вашей личности.

6.

Мне приходит на ум все чаще:
Деньги!.. Прах бы его побрал –
Этот желтый, с ума сводящий,
Равный боли, беде – металл!..
Всем богат я: и злобой лютой,
И любовью к моим трудам.
Мне же, автору, почему-то
Одиноко... Я все отдам
За надежность поддержки огромной:
Не клянется она в любви;
Не считает зато нескромно,
Как на счетах, изъяны мои.
Все нормально – ее не видно.
Где ж увидеть нам кислород?..
Но вот как без нее обидно
В злой период любых невзгод!
Обнаружил – и боль пронзила:
До чего же ты одинок!..
Если воздуха не хватило –
Тут уж каждый заметен вздох.

В бессонную ночь мысли бывают бессвязные, перескакивают с предмета на предмет. Голова – ни свежая, ни болит; тусклый – ни светлый, ни черный – туман перед глазами. Под черепной крышкой – ни холод, ни жар, противное какое-то полутепло. Гадость, вроде зимней оттепели. Переходное состояние.

Да, Вы не любили деньги. Принесете, бывало, из магазина «Дары природы» кедровые шишки с орехами; заведете в какое-нибудь кафе; в подземном переходе купите цветы, и просите, чтобы я вручил их от своего, а не от Вашего имени девочке, с которой я постоянно ссорился... Время от времени я спохватывался, пытаюсь уплатить за себя, а Вы сердились: «У меня есть деньги. И зачем они мне, если я не могу сделать приятное своим друзьям!..»

Купили Вы новую электробритву, а бриться каждый день некогда. Трехдневную же щетину она не брала.

«Вот у меня старая бритва – хоть пять дней не брейся, жрет щетину все равно. Сгорела. А эту, может, ты возьмешь? У тебя-то юношеский пушок».

Я бы взял, да как раз по пути к Вам домой сам купил себе новую... Куда мне две?

Дома у Вас каждый день собирались люди. Общество было действительно избранное: самые известные философы, психологи, педагоги, врачи, писатели, советские и иностранные.

Работали Вы рано утром: с пяти часов на ногах, пили крепкий кофе – и за машинку, трофейную, из Берлина, массивную, как танк. Днем, если удавалось, отсыпались.

(Я не раз нарушал Ваш дневной отдых своим приходом, да и Вы иногда, если предстояло совместное выступление вечером, звонили, просили в определенное время разбудить Вас по телефону)

Вечером – опять дружеское застолье, разговоры, к которым Вы внимательно прислушивались, а сами больше молчали.

(Часто бывая у Вас дома и почти всегда кого-нибудь заставая, я удивлялся, когда Вы успеваете не только работать, а даже спать, и не раз интересовался у Вас Вашим режимом.)

Вы были очень инициативны в общении – не в смысле разговорчивости, нет, – предпочитали молчать, слушать, – а просто всех вовлекали в свою орбиту.

И все же Вы были одиноки. Вы как-то существовали в параллельных мирах: и с людьми, и наедине с собой. Общались как-то отрешенно... И около Вас мне было хорошо просто сидеть, держа Вас за руку, я не скучал. И не просился в общий разговор. Мне было достаточно быть рядом с Вами.

Вы были не только с теми людьми, что вокруг Вас, Вы одновременно были – со всем человечеством – в себе. Человечество – в Вас, Вы – все человечество. И тут уж рассчитывать Вам было не на кого, кроме самого себя. Вами восхищались, перед Вами преклонялись, Вам завидовали, на Вас клеветали, Вас ненавидели, – а до конца, на все сто процентов, не чуть-чуть, а без остатка, понять, и таким вот полным пониманием поддержать, – кто бы смог? Был ли хоть один такой рядом с Вами? Откуда мне знать...

Далеко не каждый живет проблемами всего человеческого рода. У многих из нас круг забот существенно уже. Даже у тех, кому печься обо всем человечестве по должности положено, – у глав правительств, например.

Но у Вас не должность, у Вас – призвание: мыслителя. И Вам, как носителю общечеловеческого разума, меньший, нежели общечеловеческий, масштаб противопоказан. То, что желательно для какого-нибудь президента, премьер-министра или генерального секретаря, обязательно для мыслителя. В отличие от любого высокопоставленного чиновника, мыслитель не вынужден заниматься общечеловеческими проблемами – он ими просто живет, как своими личными. Он не был бы мыслителем, если бы мыслил меньшими масштабами. И поддержать Вас полным пониманием мог бы только мыслитель Вашего же ранга, а выше уж некуда, ибо Вы действительно были мыслителем первоклассным.

7.

Под подушкой таблетки... Враки,
Будто вылечишь этот мозг,
Горем – давним и остро-ярким –
Изывиленный вкривь и вкось.
От пилюль никакого проку
Сердцу, если оно – насос,
Перекачивающий с кровью
Море скрытых, но едких слез.
Что лечиться-то, если только
И живу, чтоб вести борьбу, –
До последней капельки долга

Всех людей защищать судьбу.
Защищать от двуногих тварей,
Называющихся людьми,
В термоядерном сжечь пожаре
Весь разумный готовых мир.
Не о будущем мире светлом
Речь, покуда безумцы есть,
Что готовы развеять пеплом –
Лишь бы властвовать – космос весь.

После Вашей смерти у Вас под подушкой нашли огромное количество таблеток в спичечных коробках. Вы их не принимали, а прятали, чтобы к Вам не приставали, не заставляли глотать.

Новомодные способы самовыздоровления, типа аутогенной тренировки или какой-нибудь восточной гимнастики, Вы клеймили ироническим: «Враки!»

Говорят, за день или два до Вашей смерти жена спросила у Вас:

«Что ты такой грустный, Эвальд? У твоих ног внук...»

«Вот потому и грустный», – якобы ответили Вы.

И мне верится в достоверность этого рассказа, потому что, когда китайцы развязали военный конфликт на границе с Северным Вьетнамом, я видел Вас прямо-таки потрясенным:

«Заработали китайские танки и артиллерия» – говорили Вы мне. – Америка потребовала, чтобы мы не вмешивались. Через пару дней на наши головы могут посыпаться бомбы, и дай Бог, если не атомные...» Вы не могли быть спокойны за будущее внука, как и всего человеческого рода. Загрустишь тут...

У мыслителя «капля долга» и «капля силы» – это одно и то же. Свой долг мыслителя Вы исполнили до конца, до последней капли отдав силы на поиски выхода из безумия термоядерного противостояния; на поиски ответа, как выжить роду человеческому, как людям на деле, а не только по названию их биологического вида стать разумными существами. Боль за безумие тех, кто претендует на разумность, Вас терзала постоянно. Это было не официальной озабоченностью сановника, а настоящим личным горем.

8.

Он уснул на минуту, может;
Но во сне, как и наяву,
Мысль тревожная сердце гложет –
И приснился кошмар ему.
Будто пусто в убитом мире,
Что последней сожжен войной.
Никого ни в одной квартире.
Лишь один человек живой.
Это сын уцелел приемный,
Сам не ведая как, зачем, –
Радиацией ослепленный,
Оглушенный, больной совсем.

Где асфальт уцелел, тихонько
Пробирается кое-как.
Все простукает тростью тонкой
Пред собой, чтобы сделать шаг.
С грозных дней катастрофы жуткой
Все распахнуто настезь тут,
Словно люди лишь на минутку
Отлучились – вот-вот придут.
Магазины, библиотеки,
Уцелевшие от огня,
Ждут, нуждаются в человеке,
Сквозняками кряхтя, гремя.
Он приходит – богатый нищий.
Тростью шарит, стучит, шуршит.
Из еды, что осталось, ищет.
Книги старые ворошит.
И с погибшими, как с живыми,
Вслух заводит беседу вдруг,
Глядя пальцами ледяными
Вещи – дело их умных рук...
...Спал я, кажется?.. От кошмара
Пробирает всего мороз.
Свет от лампы настольной ярок.
На журнальном столе ха/ос.
Учинить бы всему проверку,
Навести бы тут марафет...
Кучей книги, журналы; сверху –
Пачка «ядерных» сигарет.
...Да! Возможно ведь и такое:
Будет вместе с Землей самой
Взрывом ядерным упокоен
Передравшийся род людской.
И зачем тогда все, что было, –
Человечества все труды,
Раз не вырвалось, как ни билось,
Из последней своей беды.
Неужели затем родятся
Современные малыши,
Чтобы вдруг сообщая остаться
Прахом выжженной в прах Земли?
Туч немало грозящих, темных.
То ли будет гроза, то ль нет?..
Сын, о них постоянно помни,
Чтоб не сбылся мой сонный бред.

Позабудем – не обойдется,
Не расчистится окоем.
Мы за солнце должны бороться.
А иначе – зачем живем?

«Дорогой Саша!

Получил твое письмо, и оно заставило меня очень и очень задуматься. Имею в виду письмо про одиночество и “выходы”. Дорогой ты мой человек, на проблемы, которые ты наставил, думаю, что сам Гегель не сумел бы дать окончательного и конкретного ответа. По существу ведь речь идет о том, зачем человечество вообще вышло из животного состояния и обрело себе такую хлопотную способность, как сознание. Зачем? Я искренне думаю, что на этот вопрос (“зачем?”) ответа нет. У материалиста, разумеется/ Марксизм вообще, как верно говорил Ленин, прочно стоит на почве вопроса “Почему?”, и на этот вопрос можно питать надежду найти ответ.

Зачем существует солнце? Зачем существует жизнь? Любой ответ на эти вопросы будет относиться к области фантазии, плохой или хорошей поэзии. Таких ответов на выдумывано миллион – иногда остроумных, иногда поповски-тупых. И пессимистических, и казенно-оптимистических.

Единственное, на чем может тут сойтись материалист с идеалистом, или фантазером, так это то, что сознание – как факт – величайшее из чудес мироздания (только, пожалуй, кибернетики считают, что им раз плюнуть, чтобы его объяснить).

Ты верно и остро понял, что проблемы, в которые ты уперся, абсолютно ничего специфического для слепоглухого не составляют. Не буду лицемерить и говорить, что зрение и слух – вообще маловажные вещи, что в силу известной диалектической истины – “Нет худа без добра” – ты в свои двадцать один год уже дорос до такого сознания, которым дай бы бог обладать миллионам зрячеслышащих. Зная тебя, знаю, что сладеньких утешений ты не примешь, что ты к ним глух. Я понимаю, что слепоглухота не создает ни одной, пусть самой микроскопической, проблемы, которая не была бы всеобщей проблемой. Слепоглухота лишь обостряет их, больше она не делает ничего. И поэтому ты в свои двадцать лет осознал и выразил их острее, чем большинство зрячеслышащих с высшим образованием – так остро, как очень немногим удалось их осознать. Поверь мне, это вовсе не льстивый комплимент, продиктованный желанием как-то скрасить твои мучительные размышления и настроения.

Сознание – это не только чудо из чудес, – это и крест, – гораздо больше мыслителей (и не только мыслителей). Всерьез полагают, что без этого “проклятого” Дара Божьего человек был бы счастливее, и что вся боль мира существует, собственно, только в сознании. Недаром ведь, когда вырезают хотя бы аппендикс, стараются на это время сознание погасить. В той же книге, где сказано, что человек не единым хлебом жив, сказано так же: “Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь...” (это из библии, из главы “Экклезиаст” – то есть, по-русски, “проповедник”). С этими же идеями связана и старинная сентенция, что на самоубийство способен только человек (о скорпионах это давно разоблаченная сказка). Не удивляйся, что я тебе цитирую библию, это ведь вовсе не поповская книга, каковою ее сделали попы. Это величайшее поэтическое произведение, равное “Илиаде” и “Эдде”, – и “Экклезиаст” (как звали его на самом деле, никто уже, наверное, не узнает) был очень большим поэтом. Это ему принадлежит определение мира и жизни как “суеты сует и всяческой суеты”.

Пожалуй, это самый большой пессимист из всех поэтов. Но и очень неглупый. Знаешь ли ты, что его слова: “Кто копает яму, тот упадет в нее”, и “Кто разрушает ограду, того ужалит змей”?.. И еще сотни афоризмов, вошедших во все языки и культуры мира? – Вот еще образчик (думаю, что и не подозревал, что это – все тот же “Экклезиаст”): “Лучше слушать обличения мудрого, чем слушать песни глупых” и: “Не будь поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых”, “Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов”.

Прости, я рискую перепечатать всю поэму.

Саша, я это все к тому, что сознание – это не только чудо и крест, а и тончайший предмет в мироздании, – тончайший, и поэтому его могут сгубить вещи, которых другой предмет и не почувствует. И не от “силы воли”, как говорили некоторые негодяи, “мыслители”, а только от того, что не хватало ума и мужества, некоторые человеки “укокошивали себя”. Сознание, или “Дух”, как его называли и называют, есть – Гегель – “способность выносить напряжение противоречия”. Собственно, это просто другая дефиниция сознания.

Тяжкая оно, сознание, вещь, когда мир не устроен по-человечески, а ты знаешь, как он может быть устроен. А тебя не слушают, над тобой даже смеются, обзывают “утопистом”. Нельзя ни в коем случае поддаваться минутам отчаяния. Я прожил пятьдесят лет и знаю: они все же проходят, эти минуты, и даже думать о “выходе” из игры не нужно. Пока есть капля силы, надо бороться. За то, что ты считаешь мудрым и человеческим. Опять тот же “Экклезиаст”: “Время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать”. Твердо знаю, что настанет и твое время плясать, даже если и настало твое время плакать. Пройдет.

“У мудрого глаза его – в голове его, а глупый ходит во тьме”. И это “Экклезиаст”, который не был знаком с проблемой слепоглухоты, а как поэт понял, – согласись, – суть дела умнее, чем Матушка Зима...”

(Кличка одного из бюрократов, противостоявших А.И. Мещерякову и Э.В. Ильенкову в их борьбе за новое, более крупное, реабилитационное учреждение для слепоглухонемых (которое между собой мы привыкли называть словом “Комплекс”). Бюрократы рассуждали о выгоде-невыгоде “возни” со слепоглухонемыми, и ученые вынуждены были им доказывать, что сия “возня” очень даже “выгодна” хотя бы с точки зрения научного эксперимента, делающего философию экспериментальной наукой. – А.С.)

Если бы ты был действительно один – одинок, – я не имел бы права советовать тебе мужество сознания. Ты не один, славный и мудрый мой друг. Приедешь – будем говорить с тобой долго и всерьез.

Твой Э.В. 12 августа 1974.

Саша! Прилагаю к сему стихотворение, написанное собственноручно одним моим знакомым.

ДУША МОЯ

Им никогда не позавидовать тебе,
Душа моя, любовь моя, родное,
Страдавшее так долго, долго сердце!
Вовеки не понять, что это – р~оды,

Когда не удержать глухого стона,
Дрожь не унять, нельзя, нельзя согреться,
Когда все кажется потерянным. Надежда
Смешна, когда обида, оскорбленное,
Отчаянное, мертвое презренье, –
Все, все уходит прочь, сменившись вдруг
Свободой, красотой, обновленьем.
Душа моя! Ты пересилишь муку,
Залогом – сила самое страданье.
Не бойся боли – и страдай сильней.
Смиренье – рабство, а спокойствие – смирение,
А “мудрость” этих всех благополучных –
Спокойствие. Как я люблю тебя!»

(Стихи принадлежат Борису Михайловичу Бим-Баду, с которым я встретился у Вас дома через пять месяцев, 15 января 1975. Тогда Борис Михайлович был кандидатом педагогических наук, старшим научным сотрудником сектора истории педагогики НИИ общей педагогики АПН СССР. Впоследствии он стал академиком РАО, доктором педагогических наук, профессором, основателем и первым ректором университета РАО. Познакомившись у Вас дома, мы подружились на всю оставшуюся жизнь. Борис Михайлович с тех пор остается моим учителем и ближайшим другом, вдохновителем моего творчества.)

И все-таки, Эвальд Васильевич, раз ответов столько, то и вопрос не случайно задают так упорно. Почему люди с таким упорством ищут ответа на вопрос «зачем?». А ведь бывает, что «почему?» и «зачем?» сливаются в один вопрос до полной неразличимости, до тождества. Например: почему (или, что то же самое, зачем) люди так упорно ищут ответа на вопрос о смысле жизни? Почему (зачем) они ищут ответ на вопрос, зачем (ради чего, с какой целью) жить?

Вообще их три вечных философских вопроса: первый – «Что такое?», второй – «Почему?», а третий – «Зачем?» Что такое мир, в котором мы живем? Почему он такой, а не иной? И зачем мы в этом мире, каково наше в нем место, то есть не «зачем солнце» или «зачем жизнь» вообще, а что нам в этом мире, который «что такое» и «почему», делать?

Есть ли наше место в мире – место разумных существ? Или наше место в мире – место одного из бесчисленных видов животных, своей жизнедеятельностью создающих условия для собственного грядущего вымирания?

«Не презирай малых сих», – сказано где-то в Библии, которую Вы подробно цитируете в письме ко мне.

Каюсь, Эвальд Васильевич: чем больше живу, тем больше презираю «малых сих» – за очевидную несостоятельность как разумных существ. И себя тоже презираю, когда случается поступать даже не бессмысленно, а просто безумно. Тут нет противоречия с тем, что говорилось выше о терпимом отношении к любимым, о приятии любимых такими, как есть. Любимые – это одно, а «малые» – совсем другое. «Малые» – чужие (и я сам себе тоже чужой во многих проявлениях), а любимые – единственный свет в окошке.

Вы сами всю жизнь искали ответа на вопрос, зачем существует человечество, в чем смысл его существования, что необходимо для достижения нами качества действитель-

но разумной формы жизни. Главным для Вас было, не что такое мир, и не почему он именно такой, а каким должен быть каждый из нас в качестве личности, в качестве разумного существа, и что мешает нам быть такими. В поисках ответа на этот вопрос Вы сожгли, вместе с собственным здоровьем, бесчисленное количество крепчайших кубинских сигарет, набитых сигарным табаком (отходами от производства сигар). Это был горлодер почище самых крепких российских папирос, и за это кубинские сигареты мы называли «термоядерными». Правда, перед Вашей смертью их не было в продаже несколько месяцев, Вам пришлось перейти на «Беломор», а Ваши друзья рыскали по всей Москве в поисках кубинских...

Вы не любили верхний свет. В комнате Вашей он зажигался крайне редко, а горели обычно три настольные лампы: одна – около пишущей машинки; другая – рядом с самодельным (сами Вы собрали из разномастных аппаратов) радиокомбайном, качеством звучания которого восторгались даже бывавшие у Вас в гостях западные немцы; третья – на журнальном столике у Вашего дивана-кровати, где лежало Ваше текущее чтение и детали чинимой Вами радиоаппаратуры. А за пару месяцев перед смертью Вы занялись переплетением наиболее уникальных книг из личной библиотеки, в которой было даже прижизненное немецкое издание «Критики чистого разума» Иммануила Канта. Когда я попал к Вам в гости последний раз – в день Вашего пятидесятилетия – Вы как раз реставрировали фолиант 1798 года издания и увлеченно показывали мне технологию своего переплетного мастерства. Я чуть-чуть понимал в этом, так как тоже пробовал переплетать. Переплетая, Вы поминали Баруха (Бенедикта) Спинозу, наиболее чтимого Вами из мыслителей до Маркса. Спиноза зарабатывал на жизнь ремеслом оптика, а заодно и на преждевременную смерть – от туберкулеза легких, изъеденных мельчайшей стеклянной пылью.

Вы были принципиальным сторонником сочетания умственного труда с физическим, полагая, что голова учится мышлению именно у рук, а без рук мозг был бы, как орган мышления, поистине безмозглым. И в том, что Спиноза существовал физическим трудом, Вы видели источник его философской мудрости, а не просто вынужденный заработок отлученного от всех церквей, обреченного на нищету мыслителя. Правда, труд-то был мыслителю подстать – высококвалифицированный...

9.

Но, сынок, не одни лишь войны –

Тучи разные впереди.

Что такое – прожить достойно?

Прост вопросик; ответь поди!..

Вот – Спиноза. Он был спокоен:

Пониманием скована страсть.

Я мечтал его быть достойн;

Мне б его над собою власть.

В теоремах сухих систему

Философскую изложил.

Как он строго решал проблемы!

Как достойно, красиво жил!..

Все попы его проклинали,

Отлучали от всех церквей.
И неистово клеветали,
И язвили мильоном змей.
Он в одном своем объясненье –
В том, что «схолией» называл, –
На бессильное их шипенье
Мощью истины отвечал.
И насмешкой своей острейшей,
Что кинжалов опасней всех,
От нелепости их святейшей
Оставлял он проклятий грех:
«За безбожность его ученья
Суд твой, Боже, да будет свят!
А за наши с ним все мученья,
Боже, ввергни Спинозу в ад!
Стал он вечной твоей занозой, –
И твоих недостойных слуг...»
Да, был верен себе Спиноза,
И надежный был, честный друг.
Знаешь, кто, по Спинозе, честен?
Кто с собою связать людей
Может узами дружбы вместе, –
Чем их больше, тем ты честней.

Да, Вы были спинозистом. И в главе «Диалектической логики», посвященной Спинозе, Вы причислили к великим спинозистам всех классиков немецкой философии – от Канта до Маркса. Ваше прочтение Спинозы было настолько смелым и злободневным по исследуемой проблематике, что наш университетский преподаватель истории философии, когда я поинтересовался его мнением об «ильенковском Спинозе», сострил: «У Ильенкова Спиноза большой марксист, чем сам Маркс». Доля истины в этом отзыве была. Насколько я Вас понял, Вы действительно считали Спинозу единственным с античных времен до Маркса мыслителем, который сделал попытку соединения материализма с диалектикой.

Не раз на Ваших вечерних застольях я спрашивал Вас, по какому случаю все гости, вдруг загомонив, оказывались на ногах, с особым энтузиазмом чокались. Выяснялось, что шумный энтузиазм ученых мужей, академиков, профессоров, докторов всяческих наук, был вызван... тостами за Спинозу. Почему бы и нет? Не надо ханжески морщить нос. Тост за Спинозу для этих людей был равнозначен тосту за здоровье любимого учителя, духовного отца.

Когда я окончил университет и стал работать в научно-исследовательском институте общей и педагогической психологии, Вы, будучи моим научным руководителем, засадили-таки меня за «Этику» Спинозы. Первой моей отчетной работой за год стал реферат этой книги. По Вашей предсмертной оценке, я вполне верно изложил основы спинозизма, хоть и откровенно чертыхался, будучи весьма неучитивым юнцом, на совершенно невозможный, противоречащий моим эстетическим вкусам, «геометрический способ»

изложения Спинозой своих взглядов. Сами Вы любили и тонко ценили красоту мысли, восторгаясь остротой постановки, простотой и строгостью решения Спинозой проблем. Вы переводили Спинозу на современный философский язык, и, не зная раньше Вашей интерпретации, я Спинозу вряд ли бы понял.

Вы любили детски простенькие формулировки сложнейших философских проблем, например: «Тело – мое, мозг – мой, а где же я сама?» И, посмеиваясь, предвкушая, как запутается ученый собеседник, Вы подначивали:

«Попробуйте-ка ответить так же просто, так же коротко, как спрошено!»

Вы всем предлагали эту философскую задачу. Пробовал ее решить и я. Долго ломал голову, и наконец выдал:

«Где я? Не тут (касается ладонью головы) и не здесь (указывает на грудь)... А, понял! Я – в сумме моих отношений с друзьями... И с врагами тоже. В совокупности моих отношений с другими людьми, вот где...»

Этот мой ответ Вы поставили эпиграфом к последней главе работы «Что же такое личность?», – главе, которую так и назвали: «В каком пространстве существует личность?» Работа построена, как и все Ваши статьи и книги, в форме своеобразного философского детектива. Я был студентом. Ни Маркса, ни Вас еще по теории личности не читал. И Вас поразило, как точно мой ответ совпал с тем, который Вы дали в этой работе, изданной уже без Вас в год Вашей смерти.

Ну, а формулировка вопроса: «где я?», – принадлежит слепоглохой студентке Наташе Корнеевой. Впрочем, этот ее вопрос цитирует Александр Иванович Мещеряков еще в 1970 году, задолго до нашего поступления в МГУ. Наташа – та самая девочка, которой Вы заставляли меня дарить купленные Вами цветы. Ее вопрос Вы тоже поставили эпиграфом ко второй главе той же работы (глава называется «Органическое и неорганическое тело человека»).

Спинозе приписывают афоризм: «Не плакать, не смеяться, а понимать». Восхищаясь глубиной и снайперской точностью спинозовского понимания, Вы не могли достичь его бесстрастия, каждая Ваша строчка обжигает страстностью. И слава Богу: Ваша страстность привлекала меня к Вашим текстам, прямо-таки завораживала, много раньше, чем я дорос до Вашей мысли. Да и дорос ли до сих пор?.. Вот перечитываю, вроде бы знаю многое наизусть, а в целом – словно впервые, столько не замеченного раньше открывается... Неисчерпаемо, подобно любимой музыке и любимым стихам. А вообще-то понятно: я сам не стою на месте, расту, развиваюсь, накапливаю духовный опыт, ну и замечаю то, что не мог заметить раньше.

Спинозовского бесстрастия Вы не достигли, зато спинозовская честность была свойственна Вам в самой высокой мере. Когда Вы засадили меня за «Этику», определение честности прямо-таки потрясло меня, сразу – наизусть: «Честным я называю человека, умеющего связать с собою узами дружбы наибольшее количество людей». В этом отношении Вы были мощнейшим магнитом. Кого только ни водили Вы к нам, слепоглохим студентам! Долгие годы уже после Вашей смерти все, кто меня окружал, были «подарены» мне Вами.

Люди это были очень разные, нередко терпеть не могли друг друга. Доходило до ультиматумов: «Или я, или мой антипод!». За горло брали, желая мне добра и требуя выбрать. Вас-то, и то, наверное, далеко не все – слишком уважали, чтобы позволять себе подобное... Вам было можно совершенно свободно решать, с кем водиться, а с кем нет.

На Вас смотрели снизу вверх. На меня – слишком часто – сверху вниз. Так было очень долго. Отстаивая свое право быть самим собой, я многих от себя оттолкнул. Но и сейчас меня окружают очень разные люди, нередко не могущие друг друга терпеть. Изю всех сил стараюсь, чтобы они друг на друга не натыкались. Стараюсь – из чувства самосохранения. И с некоторых недавних пор никто уже не берет меня за горло, не требует выбрать между собой и кем-то ему несимпатичным. Честен ли я?.. Ох, не знаю... Наконец, хорошо ли мне? Все равно плохо, одиноко очень.

Бывало часто, Вы приведете человека, хорошо поговорим, новый знакомый пообещает вскоре появиться опять – и навсегда исчезает. Проходят месяцы, вспомнишь, спросишь у Вас: где же тот, как его? Вы – огорченно, беспомощно:

«Ну что же делать, если он оказался нелюбопытный!..»

Кажется, для Вас «любопытство» и «любопытность» были синонимами. А насчет того, что на Вас смотрели «снизу вверх» и предоставляли Вам свободу выбора друзей, я, скорее всего, преувеличиваю. Обычная детская иллюзия: взрослым хорошо, у них нет таких проблем, как у меня. На самом деле, бесспорно, жить Вам было тяжело, и, наверное, не только от вселенского безумия.

10.

Над тобой, над Землею разом –
Тучи... Ночи порой не спишь.
Мой отцовский встревожен разом:
Кем ты вырастешь, мой малыш?
Хочешь быть за себя в ответе,
Сам собою располагать?
Я подростком, как все на свете,
Мучил этим желаньем мать.
Я выскальзывал из квартиры,
Не докладывая куда.
Заявляя, что я уж вырос,
Часто за полночь пропадал.
Точно так же, как твой котенок,
Из-под полка достань поди...
Ты по возрасту не ребенок;
По характеру – сам суди.
Чем, скажи-ка, сынок приемный,
Пред тобой провинился я?
Разве тем, что, себя не помня,
Крепко-крепко люблю тебя.
За тебя, несмышлениш, мне страшно:
Как бы, раньше чем поумнеть,
Ты по-детски трагично и зряшно
Под машиной не встретил смерть.
И под тою, что прет безглазо,
На дороге случайно сбив.
И под тою, что давит разум,

Душу плющит, себе подчинив.
Нет последней машины хуже:
Ты под нею не сам, не свой,
А – хотя бы и жив снаружи –
Мертвый винт ее запасной.
В жизни этой наружной, загробной,
Ты не личность, а индивид,
И штампуешь себе подобный
Из души человеческой винт.
Все-то чужды тебе сомненья,
Своеволие мыслей, чувств...
Страшно этого превращенья,
Этой смерти твоей боюсь!
И безжалостно, как все дети,
Ты про этот мой страх спросил...
Я хотел бы тебе ответить,
Только нету на это сил.

Вы никогда не называли меня сыном – по крайней мере в глаза. Но я Вас называл своим духовным отцом, и Вы не возражали, соглашаясь молчаливо. И конфликт наш был типичным для отца и сына: я стремился к самостоятельности, а Вы за меня боялись.

Меня всегда тяготила стопроцентная зависимость от окружающих, от их занятости, лени и каприза. Невыносимо, когда не можешь удовлетворить самостоятельно элементарнейших потребностей: просто на свежем воздухе погулять, друзей навестить, не прося никого сопроводить меня, посетить концерт любимой музыки. Невыносимо сидеть в четырех стенах, боясь высунуться без присмотра. Уверен, Вы все это прекрасно понимали. И будь я зрячеслышащим, относились бы к моим похождениям благодушно.

Но я слеп и глух, а Вы меня любили, и перед страхом за мою жизнь отступала – не могла не отступить – самая мудрая философия. Я это понимал. Мне жаль было Вас, но и себя тоже. И я тайком убежал из студенческого общежития, – в парикмахерскую, в магазин, даже на речной трамвай. Где не мог справиться один – при переходе через дорогу, например, – просил прохожих о помощи. За меня боялись, это все мне запрещали, и я вынужден был тайком учиться тому, чему следовало бы учить специально, целенаправленно. Но эти проблемы педагогика слепоглухих тогда еще даже не ставила.

На тихом перекрестке около высотного здания МГУ, где машин почти нет, Вы на что-то отвлеклись, а я от скуки сделал несколько шагов в поисках края тротуара. Понесло меня, как на грех, к мостовой – спутал стороны света. Но я был с ориентировочной тростью, и на мостовую не сошел бы, трость предупредила бы о спуске за шаг до него.

Оглянувшись, Вы резко рванули меня к себе:

«Самостоятельничаеть?!» – и больше не отпускали, просунув мою руку под локоть своей.

«Ну ведь кругом добрые люди, уж на простейшую, минутную доброту почти каждый способен, помогут!» – не раз пробовал я Вас убеждать.

«Под машину попадешь! Вон в Венгрии была слепоглая студентка, вышла на улицу и сразу угодила под машину. А не то – на маньяка напорешься, зарежет».

«Просто так не режут! И вообще это один шанс на тысячу!»

«Хватит и одного на тысячу, чтобы оказаться в колумбарии».

Да, чтобы так пререкаться, не надо быть гениальным теоретиком. Надо быть просто любящим отцом, которым Вы – по отношению ко мне – и были.

Мы оба страшно мучились. Я от огорчения начал курить, боясь – из гордости – расплакаться при всем честном народе. Мы тогда сдавали летнюю сессию, жили в высотном здании МГУ, в студенческом профилактории, – в общем, постороннего народа вокруг хватало. Потом я не раз каялся: лучше всенародная истерика, чем самоотравление. Бросить курить удалось только через много лет, а подорванную нервную систему, и без того слабую, как у всех слепоглухих, до сих пор с трудом поддерживаю в относительном порядке. Вас мое курение страшно испугало и огорчило. Сам заядлый курильщик, Вы не могли сколько-нибудь убедительно протестовать. Пытались воздействовать на меня насмешкой. Как-то в годовщину смерти Мещерякова, на кладбище, у его могилы, Вы иронически предложили:

«Закури, покажи Александру Ивановичу свои достижения...»

Вы переживали широко, на весь мир, на весь необъятный круг Ваших знакомств. И Ваши друзья приходили меня уговаривать, просили посчитаться не с отцовской любовью, так «хотя бы» с тем, что Вы – гений. Искали примирения и Вы:

«Давай не будем ссориться».

А я безумно тосковал без Вас, и если бы не Ваш категорический протест против моего «самостоятельничанья», к Вам первому заявился бы в гости один, без сопровождающих. Но, любя Вас, ни разу этого себе не позволил. Я хотел объясниться – не устно, так на бумаге. Написал большое письмо. Но даже не решился перепечатать его на зрячей машинке. Может, и зря... Поговорили бы, нашли бы какой компромисс...

Один глухой мальчик подарил мне котенка. Я с ним любил возиться, а он от меня убегал, прятался под книжными полками. Однажды Вы застали меня за добыванием котенка из-под полок, приняли в этом деятельное участие, но малыш только трогал лапками мои пальцы, а поймать себя никак не давал. Наконец Вам это надоело. Вы решительно уселись в кресло:

«Захочет есть – вылезет!» – Помолчали, отдуваясь после ползанья на четвереньках. «Два сапога пара – ты со своим котенком! Кошачья твоя самостоятельность! Давай учишься человеческой – духовной...»

«Так ведь не бывает – без физической, пространственной!»

«Бывает! Еще как бывает!»

Я Вам тогда не поверил. Это в Вас говорил страх за меня. А духовная самостоятельность, без независимого образа жизни, невозможна. Ну, диалектическую осуществимость независимости при слепоглухоте я обосновал позже. Я оказался – в решающей степени благодаря Вашей философии – способен обосновать независимость на теоретическом, а не чисто житейском уровне.

Ну, ближе к старости, из-за все большей физической беспомощности, из-за нагромождающихся болезней, – все больше преобладает, похоже, «чистая» интеллектуальная, если не духовная, самостоятельность... Покуда компьютер не сломался. И раньше я мог себя в быту обслуживать не без греха, с возрастом эти возможности становятся только еще более ограниченными. Но содержание моих текстов пока полностью в моей власти... Сомнительное утешение, потому что просто радоваться жизни – все меньше возможностей...

Вообще же во всем, что касается проблем духовного выживания всех и каждого, я Вам верил и верю чем дальше, тем безоговорочней. По мне, уж лучше быть раздавленным автомобилем, чем государственной машиной и всякого рода предрассудками, догмами. Лучше умереть разумным, духовным в какой бы то ни было степени существом, чем таковым никогда не состояться. Я горячо соглашался с Вами в том, что не надо «оригинальничать», «самоутверждаться в пустяках, ерунде, курьезных мелочах». Самоутверждаться надо в решении общезначимых проблем. Вот только я никак не мог считать «мелочью» свою физическую стопроцентную зависимость из-за слепоглухоты. Очень уж эта «мелочь» мешала и мешает мне жить, по-человечески жить, а не по-животному прозябать в четырех стенах. Мешает участвовать в жизни окружающих людей, особенно детей, в жизни человечества так полно, как мне бы хотелось. И тут уж не избыть мне тоски по «кошачьей самостоятельности». Увы...

Хотя сейчас-то, конечно, я этой «самостоятельностью» сыт по горло. Очень уж боком она выходит в условиях слепоглухоты, всего нашего немилосердного социального бедлама. Сыт по горло – в наличных условиях, но не могу не мечтать о других условиях, при которых «кошачья самостоятельность» была бы чем-то столь же естественным и осуществимым без чрезвычайных героических усилий, как дышать, есть и пить.

Без переводчика разговаривать по телефону, слушать радио, смотреть спектакль! (Что касается телефона, переписываться с недавних пор могу. SMS, WhatsApp, Facebook, мобильная электронная почта – аж четыре вида переписки на выбор.) Без сопровождающего ходить и ездить, куда бы ни понадобилось!..

Вы это все понимали. Не могли не понимать. Но моя тоска по такой жизни принимала столь крайние «кошачьи» формы, что Вы, боясь за меня, пытались «не понимать» ее.

У Вас были основания опасаться и моей духовной смерти – раньше физической. В конце жизни Вы не раз сетовали, что нравственное воспитание четверки слепоглухих студентов упущено в увлечении интеллектуальным ростом. Я как педагог и психолог, просто любящий детей человек, тоже вынужден биться над этой проблемой всю жизнь. И я пришел к выводу, что Вы напрасно себя винили. Самая острая, самая нерешенная, самая неразработанная проблема (какие бы горы литературы ей ни были посвящены) – именно проблема нравственной мотивации жизни людей, проблема человечности. Тут на практике мы как были, так и остаемся беспомощными. А раз беспомощны на практике, то и в теории вряд ли все благополучно. А ведь это не что иное, как проблема ответственности друг за друга и за все мироздание. Это проблема разумности на деле, а не по названию. Решения этой проблемы человечество еще не знает. И узнает не раньше, чем вплотную окажется перед гамлетовской дилеммой: быть или не быть. Когда эта дилемма возьмет нас за горло так, что ее вынужден будет осознать каждый. Это и есть, увы, жесточайшее условие, которое вынудит каждого живого человека стать личностью. То есть разумным существом.

Чтобы наконец-то образумиться, надо обезуметь до балансирования на самом краешке бездны, до реального риска самоуничтожения. Всеобщее безумие, увы, – условие и повивальная бабка всеобщей разумности. Как и полагается по законам диалектики. Лучшим знатоком которой Вас по заслугам признали еще при жизни.

Но ответственности – то есть разуму, то есть нравственности, то есть свободе, если не путать ее с произволом, – нельзя научить. Ей можно только учиться в собственной деятельности, в течение всей жизни. И человечеству, и каждой личности.

Ответственным – то есть разумным, то есть нравственным, то есть свободным – никто не рождается. Но этому и не научишь никакими разговорами. Этому учатся только собственным лбом, собственным горбом, на собственных ошибках и удачах. Только в ходе саморазвития – в смысле самовоспитания, самосозидания, самотворчества, – а не в ходе «целенаправленного формирования». Поэтому-то у самых ответственных родителей может вырасти самый безответственный, бессовестный тип. Единственно возможная тут «методика» – с малолетства иметь за кого отвечать и о ком заботиться, а не быть лишь объектом заботы родителей и педагогов.

Да, Вы напрасно корили себя... И не все мои вопросы были Вам по силам. Мой учитель, Ваш близкий друг, Александр Иванович Мещеряков, посвятивший жизнь слепоглухонемым детишкам, сколько-нибудь подробно успел разработать лишь первоначальный психолого-педагогический процесс, только закладку фундамента личности. А дальше – как у всех, с теми же ухабами, с тем же лотерейным везеньем, что и у всех. Откуда Вам было знать, как возможна взрослая полноценность личности при слепоглухоте, но без обслуживающего персонала. Подобного опыта в СССР просто еще не было. Про слепоглухих детей кое-что знали, а про слепоглухих взрослых, в сущности – ничего. Этот опыт предстояло нажать моему поколению, а теоретически осмыслить – мне. Поэтому именно мне всерьез понадобилась Ваша философия. Жизнь вынуждала меня думать дальше, но мое мышление было бы невозможно без Вашего, как и Ваше – без всей предшествующей философской классики.

С окончанием университета кончился и «эксперимент» с его слепоглухими выпускниками. Больше мы государство не интересовали. На «обслуживающий персонал» – на секретарей – денег так и не нашли. А нашим товарищам по несчастью, не одолевшим даже средней школы, никакой персонал вообще не полагался, кроме персонала психоневрологического интерната, в просторечии – дома инвалидов. И/или дома престарелых...

Вы умерли через неполных два года после нашего выпуска из МГУ, и начало этой кошмарной ситуации застали. В этой ситуации всем нам ничего не оставалось, кроме как наживать опыт «кошачьей самостоятельности». Никакого другого способа выжить просто не было. И для огромного большинства из нас нет до сих пор.

А у Вас перед глазами был только опыт Ольги Ивановны Скороходовой, у которой имелся штат из двух секретарей, по очереди находившихся при ней круглосуточно. Да и ее к концу жизни чиновники не прочь были бы спровадить в дом престарелых, чтобы освободить ее жилплощадь для кого-то в бесконечной государственной очереди на жилье. Вы с Мещеряковым надеялись и нас обеспечить секретарями, по примеру Скороходовой, но государство не пожелало раскошелиться. Президент академии педагогических наук СССР Всеволод Николаевич Столетов, как мне рассказывали, прямо заявил: «Нечего устраивать в академии республику слепоглухих!» А первый заместитель председателя Центрального Правления Всероссийского Общества Слепых, Анатолий Михайлович Кондратов, числивший себя в друзьях Скороходовой, нашел «неотразимый довод»: «Не бывает бесконечных экспериментов!» Против объединенной чиновничьей своры у Вас не было сил, и как ни претила Вам наша «кошачья самостоятельность», мы оказались на нее обречены...

Нету сил...

За окном светает.

Тяжкой ночи закончен срок.

И последняя дымом тает

Сигарета – всю пачку сжег.

Да... Не знаю сложней задачи –

В помощь детям дать опыт свой:

Ошибайся, но хоть иначе,

А не заново – вслед за мной.

Не за мной, не за кем-то следом,

А по-новому, в первый раз,

Чтоб несбыточная победа

Ради всех у тебя сбылась.

Вы наследуете немало –

Вы, кому только жить да жить:

Что решению подлежало

(Только мы не смогли решить),

На что в жизни мы напоролись

(Непредвиденное подчас), –

Средоточие нашей боли

Вы наследуете у нас.

Боль – защита от скрытой фальши,

Что смогли мы разоблачить.

Жизнь без опыта-боли дальше

Не надейтесь никак продлить.

Так не бойтесь его, живите

В средоточии всех проблем!..

...Нету воздуха. Может, выйти?

В мире нечем дышать совсем...

21 марта 1979 года, в одиннадцать часов утра, Вы вышли из своей квартиры на лестничную площадку. И замертво рухнули там.

Вы уже несколько дней пребывали в беспросветной тоске.

Если бы накануне вечером, 20 марта, я воспользовался подвернувшимся сопровождающим, нашим общим знакомым, не для покупки холодильника, а для прихода к Вам, может быть, мне удалось бы отсрочить еще на сколько-то Ваш уход... Не могу себе простить, что не принял предложение знакомого поехать к Вам, а не за холодильником. Отложил визит, как оказалось, навсегда.

И эта Ваша предсмертная ночь стала на всю оставшуюся жизнь моим кошмаром. Мне все представляется, как Вы мучились без сна, весь во власти уже совершенно непосильной, накопившейся за пятьдесят пять лет жизни, концентрации боли. Всякой боли – и физической, и житейской, и вселенской. Горела настольная лампа у Вашего изголовья. В рабочей и одновременно жилой комнате было накурено, как говорится, хоть топор вешай.

Если бы я пришел к Вам в тот вечер!.. Может быть, я бы хоть немного разрядил бы Ваше безысходное состояние!.. Иногда мне это удавалось, как вообще совершенно бессознательно получается это у всех детей, благодаря нашей к ним любви.

И ведь я знал, что Вам плохо. Мне говорили об этом и тот знакомый, и другой, встретивший меня 19 марта в Домодедовском аэропорту, – я приехал из Киргизии с маминго пятидесятипятiletия... Знал, что Вам плохо, и не пришел. А ведь оба эти человека были, в сущности, Вашими посланцами, передавали мне Ваш зов. Не так примитивно, конечно, Вы их не просили, – нет, по собственной инициативе, зная, как Вы меня любите и надеясь на чудо, что мой приход облегчит Ваши страдания хоть немного...

Официально было объявлено, что умерли Вы от обширного инфаркта. Но мне вскоре стало известно от общих знакомых, что на самом деле – покончили с собой. Упоминался острейший сапожный нож – не тот ли, которым Вы орудовали, переплетая книги?.. Я так понял, что Вы вскрыли себе вены.

И только в начале двухтысячных годов прочитал в «Избранном» нашего общего друга, академика Феликса Трофимовича Михайлова, о жутком обстоятельстве Вашей, как написал Феликс Трофимович, «дикой кончины» – о перерезанном горле. Я сразу обратился к Феликсу Трофимовичу по электронной почте с просьбой рассказать мне о Вашей гибели побольше.

Встречались мы с Феликсом Трофимовичем много реже, чем хотелось бы обоим, и особой переписки по электронной почте тоже не было – так, он иногда присылал мне свои новые статьи. Но однажды с нами обоими пожелал встретиться Николай Вересов, российский психолог и философ, живущий и работающий за границей. Феликс Трофимович с радостью согласился на нашу встречу у него дома. Как оказалось, это я последний раз видел его живым. И весь вечер Феликс Трофимович рассказывал мне об обстоятельствах Вашей гибели. Даже как-то неловко стало перед гостем из-за границы...

Я спросил Феликса Трофимовича:

«Четверть века прошло, а мы с Вами обсуждаем гибель Эвальда Васильевича так, будто он погиб совсем недавно. Почему?»

«Потому что он сыграл огромную, во многом решающую роль в нашей судьбе – и в моей, и в твоей», – примерно так ответил Феликс Трофимович.

Он тоже сначала верил, что Вас унес обширный инфаркт, но потом Ваша жена не выдержала: «Феликс, мне тяжело слушать, как ты всем говоришь про обширный инфаркт. На самом деле Эвальд всадил себе в горло нож».

Жена готовила на кухне, а Вы искали дорогу на Тот Свет... Сначала нож попался, видимо, тупой – всадить его достаточно глубоко не получалось, и Вы даже пожаловались на это жене. Потом Вы снова появились на кухне и сообщили: «Я убил себя».

Рукоятка ножа торчала из Вашего горла.

Вы выскочили на лестничную площадку – и там рухнули.

Да, помню, что Ваше горло в гробу было забинтовано... Подойдя простаться, я это нащупал, и мою руку отвели. Я запомнил этот эпизод, но не придавал ему значения: многим покойникам подвязывают подбородок, чтобы челюсть не отвисала. Только обычно для этого используют полотенце, а тут – бинт...

За четыре с половиной года до гибели, в уже приведенном выше письме ко мне, Вы написали о самоубийстве так, как только и могли написать юноше, искренне не желая ему гибели. Но сами Вы к уходу готовились. Само слово «колумбарий» я узнал от Вас. Помню Вашу обмолвку: мол, дождусь, пока вы (то есть мы, четверо слепоглухих) закон-

чите университет, «и хватит». Один такой разговор даже вызвал у меня беспомощные, но искренние вирши, где, помнится, первая строчка была – «Вы нам нужны. Не смейте умирать!» Вы меня поблагодарили за тот опус, и на какое-то время вроде успокоились...

Когда нас угораздило поссориться из-за моей «кошачьей самостоятельности», Вы почти при каждой встрече примерно за год до гибели просили:

«Спешу, пока я жив, со мной почаще встречаться, приходи ко мне в гости, находи, с кем прийти, – пока есть к кому прийти!..»

На похоронах академика, декана факультета психологии МГУ, Алексея Николаевича Леонтьева, Вы опять обронили намек:

«Теперь моя очередь...»

Один из наших общих друзей сообщил мне, через четверть века после Вашей гибели, что, как Вы ему признались, Вы не видели вообще смысла жить после пятидесяти пяти лет – мол, все главное сделано, остается только доживать...

12.

В январе 1984 года я узнал о Вашей предсмертной записке, адресованной мне. Моя покойная подруга, экстрасенс и психотерапевт, Галина Борисовна Можаяева, была в декабре 1983 года в Ленинграде на конгрессе суицидологов. Там делался доклад об обстоятельствах самоубийства известных людей – в том числе Фадеева, в том числе – Вас. Потом Галина Борисовна как-то убедила докладчика показать ей Вашу записку, адресованную мне, выучила ее наизусть, и написала для меня рельефно-точечным шрифтом Брайля.

«Дорогой мой мальчик!

Ты не увидишь меня больше, я так решил.

Я должен уйти: все, что мог, я уже сделал на земле.

Тебе, самому близкому и самому талантливому из моих учеников, я говорю теперь: “Прощай!” Мне не в чем себя упрекнуть, я шел долго и трудно, а теперь пришла пора уйти.

Мы должны расстаться, мой родной, это необходимо. Мы прошли часть пути вместе, теперь ты можешь и должен идти дальше сам. Помни только, что все мы – просто люди и имеем право ошибаться. Я не успел тебе многого сказать и уже не успею. Знай только, что ты самый дорогой для меня человек... Помни, как мы любили друг друга, и не мучай себя сомнениями.

Я всегда мечтал о таком сыне, и это, пожалуй, единственная мечта, которая сбылась...

Я уверен, ты пойдешь дальше, несмотря ни на какие трудности. Я верю, что ты не оставишь начатое дело, которому я посвятил жизнь. Я больше не могу оставаться, для меня не осталось места, у тебя же впереди долгий и очень тяжкий путь исканий.

Я не смог найти пути, ты должен продолжить поиск. Будь же тверд и силен, мой родной: тебя ждут бури и невзгоды, но пусть в памяти останется все, о чем мы говорили.

У тебя будут друзья, и очень дорогие тебе.

Прошу только, будь добр к людям: ведь они слабы и сами не знают себя...

Я ничего не успеваю тебе сказать, но я остаюсь с тобой на всю жизнь.

И я прошу прощения только у тебя.

Прощай.

Твой Э.И.»

Ольга Исмаиловна Салимова, Ваша жена, попросила прочитать ей этот текст и рассказать об обстоятельствах, при которых он ко мне попал. Я запомнил ее слова в конце разговора: «У меня здоровая психика».

Дальше дословно уже не припомню, однако сложилось впечатление, что она сомневается в подлинности документа.

Не смею настаивать на подлинности Вашей записки; при всей фантастичности обстоятельств, при которых она стала мне известна, я, конечно, предпочитал в ее подлинность верить. Она как-то уж очень органично подытоживает все наше с Вами общение. Все наши почти одиннадцать лет. Да и в более поздние свидетельства общих друзей укладывается...

Попробуем отследить по тексту.

«Я должен уйти: все, что мог, я уже сделал на земле».

Сразу вспоминается свидетельство нашего общего друга о том, что, по Вашим словам, нет смысла задерживаться в жизни после пятидесяти пяти. Все, по крайней мере все главное, к тому времени уже должно быть сделано.

«Мы прошли часть пути вместе, теперь ты можешь и должен идти дальше сам».

Просто поразительно, как много мне помнится из наших одиннадцати лет. Как все-таки о многом я успел спросить – и получить ответ. Вот и эта поэма – «Средоточие Боли» – тому самое яркое доказательство. И ведь, как я ни старался вспомнить и сообщить в ней о Вашей личности побольше, – к слову пришлось далеко не все... То, чему не нашлось места здесь, кстати припомнилось в других моих работах. Ни о ком больше нет у меня таких ярких и глубоко содержательных воспоминаний. И это несмотря на нашу ссору из-за моей «кошачьей самостоятельности» и мой, в общем-то, в те годы еще нежный философский и особенно нравственный возраст...

Да, мы действительно прошли часть пути вместе. И мой собственный дальнейший путь при этом определился. Я сразу после Вашей гибели стал настаивать, что главное в Вашей философии – главное в Вашем творчестве – теория личности и создание условий, вынуждающих каждого живого человека становиться личностью. Только в рамках этой теории обретает свой подлинный смысл, начинает в полную силу звучать и все остальное, – как атрибуты личности, ее свойства, способности. Это, действительно, наш с Вами общий смысл жизни и творчества.

«Знай только, что ты самый дорогой для меня человек... Помни, как мы любили друг друга, и не мучай себя сомнениями.

Я всегда мечтал о таком сыне, и это, пожалуй, единственная мечта, которая сбылась...»

Я никогда не сомневался в Вашем ко мне подлинно отцовском отношении, не обманывался на сей счет. Вообще говоря, в этом нашего брата карапуза не проведешь, как ни заверяй, что всех нас любишь «одинаково». Я знал, что из всей четверки слепоглохих студентов ближе, интереснее и дороже был Вам именно я, и прежде всего именно меня имели в виду, когда говорили о «ребятках Ильенкова». Вы из «педагогических соображений» не решались называть меня сыном, но относились ко мне именно так, именно как отец к сыну, и это было заметно не только мне. Или не только окружающим, но даже мне, как Вы, подобно моей маме, кстати, ни пытались от меня «скрыть» свое ко мне особое отношение. Мама моя тоже ведь всю дорогу твердила: «Все вы мои детки, всех вас люблю одинаково!» – а я точно знал, и прочие «детки» не обманывались, что

нет, не одинаково, меня – больше всех, – и сестра, например, прямо-таки, буквально, с ума сходила от ревности. Это мамино якобы «одинаковое» отношение к своим детям и лежит, возможно, в основе безнадежного, безысходного конфликта между мной и сестрой... Так и с Вашей неуклюжей попыткой всех убедить, и меня первого, что я всего лишь один из Ваших «учеников»... Уж я-то не сомневался в том, кто я Вам на самом деле.

«Я уверен, ты пойдешь дальше, несмотря ни на какие трудности. Я верю, что ты не оставишь начатое дело, которому я посвятил жизнь. Я больше не могу оставаться, для меня не осталось места, у тебя же впереди долгий и очень тяжкий путь исканий».

Ни к кому из четверки, кроме меня, эти слова не могли быть обращены. Это без всяких доказательств, сразу, ясно любому, знающему всех нас четверых.

Бесспорно: дело у нас и, правда, оказалось общее, и как умел, я пытался его делать. И теперь мой путь исканий тоже подходит к концу... И я тоже встретил на этом пути названного сына...

Вот только я никогда и ни с кем не делал вид, будто всех ребят люблю одинаково. Наоборот, всем объясняю, что «одинаковой» любви просто не бывает – все разные, и любить можно только по-разному. Любовь невозможно делить вообще, а не то что «одинаково», «поровну». Но не потому, что кто-то хуже или лучше. Нет, просто все разные.

И каждому та единственная, неповторимая любовь, какая ему «досталась», «принадлежит» вся целиком, никак не в доле, равной еще чьей-то доле... Любовь вообще – это чувство единственности любимого существа. Кого бы я ни любил, сколько бы их, любимых, ни было, все они – единственные. Других таких нет.

«Прошу только, будь добр к людям: ведь они слабы и сами не знают себя...»

Да уж... Только мы-то с Вами кто? Инопланетяне?

«Я ничего не успеваю тебе сказать, но я остаюсь с тобой на всю жизнь».

Что верно, то верно: так, как Вы, пожалуй, никто больше, даже мама, не остался со мной на всю жизнь.

Приведя Вашу предсмертную записку полностью, я заново процитировал из нее особенно задевающие мою память, особенно узнаваемые места. Не позволяющие мне лично сомневаться в подлинности этого документа и в том, что он обращен именно ко мне. Это не доказательство, но для меня достаточно убедительно.

13.

Все большие мыслители насквозь ироничны. И когда Вы рухнули на лестнице, Вы еще, может быть, смогли усмехнуться при мысли обо всех нас, остающихся:

Что, от воли последней стонете,
Завещающей ритуал?..
Как хотите, меня схороните.
Ничего я не завещал.
На хранение куда засунете
Мое тело, мне все равно.
Ведь не мне же рыдать на грунте,
Под которым сгниет оно!..
Что за проводы меня достойны:

В гробовой ли сухой тиши,
Под оркестровые ли стоны, –
Дело вашей живой души.
Перед вами – дорога дальше.
Память жизни моей в пути
Пригодится ли? – дело ваше.
Вам решать, ибо вам нести...

Как-то Вы позвали к себе в гости всех четырех слепоглых студентов. И предложили послушать Рихарда Вагнера, надеясь, что уж его-то «могучая ритмика» до нас дойдет. Вашим любимым композитором был именно Рихард Вагнер. В своих заметках о Вагнере Вы особенно подробно прокомментировали траурный марш из музыкальной драмы «Гибель Богов».

У меня был отвратительный слуховой аппарат, карманный, совершенно для музыки непригодный. Все звуки слились у меня в сплошной вой. Где там ритм, где там что... Первые слуховые аппараты, укрепляемые за ушами и хорошо принимающие музыку, появились у меня только в 1980 году (мне их подарили в ФРГ, в Ганноверском центре для слепоглых, сразу два, так что получились великолепные стереонаушники, регулируемые отдельно для каждого уха).

Ну, а тогда у Вас дома мне стало невыносимо грустно. Я куксился весь вечер, и наконец, к Вашему ужасу и полной растерянности, разрыдался. Причину моих слез Вы поняли правильно:

«Ну что же ты? Ну, успокойся... Девяносто девять процентов людей, с медицински нормальным слухом, Вагнера не слышат...»

«А я не хочу быть в числе этих девяноста девяти! Хочу быть в том одном проценте, которому доступны все сокровища мировой культуры!» – Таков был смысл моего ответа, звучавшего тогда затрудненно, с паузами и глубокими вздохами, чтобы опять не расплакаться.

Возразить Вам было нечего. Не отвечать же пошлостью типа: «Мало ли чего ты хочешь!» Это было бы оскорблением, плевком в душу. Брякнуть такое Вы бы не только не посмели, Вам это и в голову не могло прийти: Вы лучше кого другого понимали и разделяли мои страдания.

Вы посадили меня справа от себя, обхватили мои вздрагивающие плечи правой рукой, а в левую приняли обе мои ладони, и стали их тихонько поглаживать. Я притих. С кем другим я не выдержал бы молчания, а рядом с Вами мне просто так посидеть было всегда хорошо. И Вы нежно гладили мои руки, слегка покачиваясь вместе со мной, словно укачивая младенца.

Вы все понимали. В августе 1974 года Вы получили от меня письмо, где я делился своей тоской по музыке, такой острой, что хотелось иногда покончить с собой. Музыка я успел полюбить еще в раннем детстве, до того, как в девять лет резко ухудшился мой слух. Одной из главных моих духовных потребностей стала классическая музыка – первоначально народные песни в мамином исполнении, духовой оркестр. Я и стихи-то начал писать потому, что надеялся хоть так немножко ослабить свою тоску по музыке. Стихи я называл «музыкой слов». Раз уже нечем слушать, то почему бы не попробовать

сделать музыку самому?.. Читая чужие стихи, всегда шел от музыки к смыслу: сначала пленялся ритмами, а уж потом начинал соображать, о чем речь.

Позже я слушал у Вас «Траурно-триумфальную симфонию» Гектора Берлиоза. Слушал не через карманный слуховой аппарат, а просто прижав ухо к динамику, да на такой громкости, что снизу приходили соседи, недовольные шумом. И все равно самые тихие места симфонии совсем не слышал. Помню, как Вы несколько раз повторили для меня то место, где стреляют из пушек... Эту пластинку мне подарили после Вашей смерти. Чтобы не заигрывать, я переписал ее на кассету. В 2006 году в Испании мне записали эту симфонию и на компакт-диск. «Траурно-триумфальная» стала моей любимой симфонией, я хорошо знаю всю ее композицию, а многие отрывки выучил наизусть. В том числе и тот, с пушками.

В траурный марш Вагнера я тоже вслушался. У меня вся оперная тетралогия «Кольцо Нибелунгов», а траурный марш есть еще отдельно. Либретто эпопеи, конечно, не знаю. Слов на слух совсем не понимаю, поэтому человеческий голос для меня такой же музыкальный инструмент, как и все остальные, но все же обычно удается отличить, когда поют, а когда только играют.

И уж не знаю, как получилось, но стихотворный текст «Средоточия боли», кроме семнадцати строк заключения, весь выдержан в ритме вагнеровского траурного марша. Кто немного разбирается в теории стихосложения, может проверить. Чистая ритмическая схема строки «Средоточия боли» – четырехударная, причем ударения сдвоены, как удары главного барабана в вагнеровском траурном марше. В начале и в конце строки – ударения через слог. И у Вагнера также: барабан ударит с коротким промежутком дважды – и пауза. Дважды – и пауза. Например, две строчки, где ритмическая схема отчетлива: «Я хотёл бы тебе ответить, только нету на это сил...»

Клянусь, ритм «Средоточия боли» как-то сразу сам нашелся. Но правда же, символично, что наш с Вами разговор весь идет как бы под аккомпанемент вагнеровского траурного марша. Я сам поразился, обнаружив ритмическое родство «Средоточия боли» с траурным маршем Вагнера.

А хоронили Вас под Моцарта. В крематории звучало что-то из «Реквиема»...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не плачьте. Наш герой – он вечно жив
В своем горящем средоточье боли.
Вся жизнь его надсадная – прорыв
В желанный век разумной, доброй воли.
Мыслитель он. Один из тех людей,
Что в каждом, на свой лад безумном веке
Страдая, лишь становятся добрей,
Свободней, крепче духом и мудрей,
Взывая к Человеку в человеке.
Они навывлет через жизнь несут
Печаль о том, что мир так неустроен,
Что в нем всему хозяин – рабский труд...
А Человек – он лучшего б достоин.

Служа мечте прекрасной до конца,
Добра всей жизнью в мире добавляют;
Всеим выстраданным мужеством бойца –
Другого просто выбора не знают...

Противопоставление Человека с большой буквы человеку с маленькой буквы – исходное, фундаментальное для всего Вашего творчества, пронизанного мечтой, чтобы Человеком с большой буквы становился каждый. В статье «Философия и молодость» Вы иронизировали над «трагикомической фигурой» вчерашнего школьника, набившего себе шишку при первом же столкновении с жизнью. «И растет на этой шишке развесистое “мировоззрение”... И синяк, бывает, сойдет, а “мировоззрение” останется”».

Года через три после Вашей смерти одна восемнадцатилетняя девушка, бравирюя своим «знанием жизни», прямо при знакомстве со мной лягнула: «Зло непобедимо!»

«Что же из этого следует? – улыбнулся я. – Ты что же, на стороне победоносного зла, а не обреченного на поражение добра?»

Она растерянно промолчала, а я подвел черту: «Дура ты набитая, уж извини! Дело вовсе не в том, кто кого. Главное – на чьей ты стороне. Я готов и погибнуть на стороне добра, как уж его понимаю. Мне, видишь ли, важнее выжить духовно, чем физически, и поэтому на сторону зла, сколь угодно победоносного, перейти не смогу. Главное – правильно выбрать свою сторону баррикад».

30 октября 1980 – 15 января 1994.

Слегка подредактировано 20 апреля 2003.

Отредактировано и существенно дополнено 17–18 июля 2007.

Еще раз прозаический текст поэмы исправлен 24–26 января 2018.